

НАРУШЕННЫЙ ПОРЯДОК



ОЛЬГА БОНДАРЬ

18+

Ольга Бондарь

Нарушенный порядок

«Автор»

2026

Бондарь О.

Нарушенный порядок / О. Бондарь — «Автор», 2026

Она приехала хоронить бабушку. А нашла сделку, которая изменит всё. Судмедэксперт Агния возвращается в глухой посёлок на болотах и обнаруживает в глазницах покойной две живые жемчужины. В первую же ночь к ней приходит Тальник — древний дух, который предлагает помощь в обмен на её эмоции. Страх. Гнев. Радость. Но долг бабушки переходит к Агнии, а из трясины поднимается древнее зло. Год спустя мироздание отвечает на их связь. Из глубин выходят Предвечные — Туман, Гул и Отражение, — чтобы стереть нарушителей порядка. Помочь может только ритуал трёх сердец, но цена его высока: Агния забудет прошлое, Тальник станет смертным, а потомок Марьяны перестанет быть человеком. «Нарушенный порядок» — диалогия в одном томе. Тёмное фэнтези на стыке с хоррором и романтикой: мрачная атмосфера, сделка, перерастающая в любовь, и выбор, который меняет законы мироздания.

© Бондарь О., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Книга первая: ТИХАЯ ВОДА	6
Глава 1. В чём бабушка ушла	7
Глава 2. Чёрная вода	11
Глава 3. Первая плата	15
Глава 4. Южный край	19
Глава 5. Вторая жемчужина	21
Глава 6. Четвёртая плата	24
Конец ознакомительного фрагмента.	25

Ольга Бондарь

Нарушенный порядок

«Посвящается тем, кто хоть раз чувствовал себя неправильным.
Тем, кто любил не по правилам, жил не по законам и нарушал порядок.
Тем, кто боялся — и всё равно сделал шаг вперёд.
Тем, кто отдавал своё сердце, не прося ничего взамен.
И тем, кто нашёл в темноте не монстра, а любовь.»

Книга первая: ТИХАЯ ВОДА



Глава 1. В чём бабушка ушла

Когда я раздвинула бабушке веки, из глазниц выкатились две идеально круглые жемчужины, и я поняла, что вскрытие будет неправильным с самого начала.

Жемчужины были не белые — тёмные, болотного оттенка, с коричневыми разводами, как старая фотография, пролежавшая полвека в сыром подвале. Они мягко стукнулись о деревянный пол и покатались к печной заслонке. Одна остановилась у ножки стула, вторая — у моих ботинок. Звук их падения был глухим, влажным, совсем не похожим на стук драгоценного камня — скорее на шлепок речной гальки, брошенной в воду.

Я не сразу подняла. Стояла, смотрела в разверзнутые глазницы старухи и не чувствовала почти ничего — профессиональное. В морге меня учили: эмоции потом, сначала протокол, методичный осмотр от головы до пят, фиксация каждой аномалии. Но бабушка не была «объектом вскрытия». Её тело лежало на кухонном столе, накрытое до подбородка серым полотном, и пахло от неё почему-то не тленом, а вяленой мятой — той самой, что пучками висела у неё на чердаке всё моё детство.

Я присела. Подняла жемчужины по очереди. В ладони они оказались тёплыми — теплее комнаты, теплее моих пальцев, — словно кто-то только что держал их во рту. Я поднесла одну ближе к свече и увидела внутри движение: медленное, ленивое, как водоросль на течении. Свет не отражался от их поверхности, а уходил вглубь и тонул там, в коричнево-зелёной мути. Красиво и неправильно одновременно — как всё в этом доме, как всё в Топи.

Я положила жемчужины в пустую банку из-под смородинового варенья, стоявшую на подоконнике, и завинтила крышку. Руки двигались сами, по привычке, а мысли тем временем пытались собрать рассыпавшуюся картину.

Меня зовут Агния. Фамилию называть не стану — в Топи, где три десятка домов и одна церковь без креста, фамилии не нужны. Здесь всегда хватало имён, а чаще — прозвищ, которые давались на всю жизнь и прирастали к человеку крепче паспортных данных. Бабушку, например, звали Травницей, хотя она никогда не представлялась так сама. Я вернулась сюда впервые за пятнадцать лет. Уехала в четырнадцать, сразу после того лета, и не собиралась возвращаться. Думала — никогда. Но судьба, как выяснилось, умеет ждать дольше, чем я умею забывать.

Позвонил участковый — Соболев, кажется. Голос у него был глухой, простуженный, и говорил он коротко, как человек, привыкший к тому, что его слова никого не радуют. Сказал, что бабушку нашёл лесник: она сидела на мостках, прислонившись спиной к гнилому столбу, с открытыми глазами. Никаких следов насилия. Но и смертью это не назовёшь — тело было сухим, как пергамент. ««Мумия»», — сказал участковый, и слышно было, как он затянулся сигаретой и выдохнул дым в трубку. — «Приезжай. Тут... непорядок».

Слово «непорядок» в устах деревенского участкового могло означать что угодно: от сломанного забора до того, о чём не пишут в рапортах. Я не стала уточнять. Просто купила билет на ближайший автобус, собрала рюкзак и выехала тем же вечером. Ехала и убеждала себя, что это просто работа — тело, осмотр, заключение. Что бабушка для меня давно стала чужой. Что я не дрогну.

Врала я себе отвратительно.

Дорога заняла семь часов на двух автобусах, потом на попутке до развилки, потом пешком три километра через сосняк. Попутка — старенький «уазик» с прокуренным салоном и водителем, который за всю дорогу не сказал ни слова, — высадила меня у покосившегося указателя. Дальше асфальт кончался, превращаясь в разбитый грейдер, и водитель, заглушив мотор, недвусмысленно показал: ему туда не надо. Я расплатилась, накинула рюкзак и пошла.

В воздухе стояла влажная духота — густая, почти осязаемая, замешанная на испарениях болотной воды, прелой хвое и цветущем багульнике. Август в этих краях всегда был месяцем

тяжёлым: жара не отступала даже ночью, а туманы поднимались от земли такие плотные, что в них можно было заблудиться на ровном месте. Болота, даже когда их не видишь, всегда дают о себе знать: запахом, тишиной, каким-то низким, едва слышимым гудением, которое принимаешь за комариные тучи, висящие над чёрной водой, но которое на самом деле идёт из-под земли — или из глубины собственной памяти.

Я шла и узнавала дорогу. Вот здесь, у покосившейся сосны, мы с бабушкой поворачивали к ягодным местам. Вот тут, в низине, всегда стояла вода, и бабушка говорила: «Не ходи, засосёт». А вон там, за кривым ольшаником, должно быть видно крыши Топи. Я всматривалась в просветы между деревьями, но видела только серую дымку. Лес стоял молчаливый, настороженный, и с каждым шагом мне всё сильнее казалось, что за мной наблюдают. Не зверь, не человек — что-то третье, терпеливое и немигающее.

Дом бабушки показался внезапно. Он стоял на краю посёлка, дальше только топи — бескрайние, уходящие за горизонт, поросшие осокой и редкими островками чахлых берёз. В детстве я знала здесь каждую кочку, каждую тропку. Мы с ней собирали багульник и сушили на чердаке, раскладывая на старых простынях. Она говорила: «Это от бессонницы, Агнюша. От бессонницы и от дурных снов. Кладёшь под подушку веточку — и спишь как младенец. Только не злоупотребляй: если слишком долго спать без снов, можно разучиться просыпаться». Я тогда не понимала, что это значит, а переспрашивать боялась.

Теперь дом смотрел на меня пустыми окнами, и кто-то заботливо заколотил ставни досками крест-накрест. Не бабушка — она никогда не закрывала окон. «Дому нужно дышать, — говорила она, — а темнота привлекает лишнее внимание. Кто прячется, в того и целятся». Значит, это сделал кто-то другой. Лесник, может быть. Или участковый. Или кто-то из местных, кто знал то, чего не знала я.

Я подошла ближе. Дом был старый, рубленый, с высокой крышей и резными наличниками, когда-то выкрашенными в ярко-синий цвет. Теперь краска облупилась, дерево под ней посерело от времени, но кое-где ещё виднелись синие мазки — как будто дом помнил себя молодым. Крыльцо покосилось, две ступеньки из трёх провалились, и подниматься пришлось осторожно, держась за перила, которые ходили ходуном. На двери висел замок — новый, блестящий, совершенно чужеродный среди этой ветхости. Ключ, как обещал участковый, лежал под половицей, завёрнутый в тряпицу. Я нашарила его, открыла замок и вошла.

Внутри всё было не так, как я помнила. Не то чтобы вещи лежали не на своих местах — скорее, воздух изменился. Он стал плотным, застоявшимся, как в погребе, который давно не открывали. Пахло пылью, сухой мятой и чем-то ещё — сладковатым, восковым, с горьковатой ноткой, которую я не могла опознать. Половицы пели под шагами, и звук этот разносился по дому гулко, как в пустом храме. На стенах висели бабушкины травяные пучки, потемневшие от времени, и рушник с красными петухами, вышитый ещё её матерью. Над рушником — фотография в рамке: я, семилетняя, с корзиной грибов, смотрю в объектив серьёзно и чуть испуганно.

Тело лежало на кухонном столе, и кто-то уже зажёл свечи — три штуки, в жестянках из-под тушёнки. Воск оплывал, капал на серое полотно, и в этом дрожащем свете лицо бабушки казалось почти живым. Почти. Я скинула куртку, повесила на спинку стула, вымыла руки под ручкомойником — вода пошла ржавая, тёплая, пахнувшая железом, — натянула перчатки и повернулась к столу.

Бабушка была одета в то, в чём её нашли: длинная тёмная юбка, старый свитер с заплатками на локтях, шерстяные носки и галоши. Галоши она носила даже летом — говорила, что болото не любит босых ног, и я ни разу не видела её без них. Странно было видеть эту обувь сейчас, в доме, на неподвижных ногах. Странно и горько.

Я начала осмотр методично, как учили: голова, шея, грудная клетка, живот, конечности. Кожа действительно напоминала вощёную бумагу, туго натянутую на кости: ни вздутия, ни

трупных пятен, ни характерного зеленоватого оттенка, который появляется на вторые-третьи сутки. Мумификация такого качества обычно занимает недели в условиях сухого жара. Здесь же — сырой климат, болотные испарения, перепады температур. Ни одна естественная причина не могла дать такую картину за те двое суток, что прошли с момента её исчезновения. Соседка — та самая, что видела бабушку в среду у колодца, — сказала участковому: «Она ещё воды набрала и мне кивнула, как обычно. А в пятницу лесник нашёл». Двое суток. Для такой мумификации нужно в десять раз больше.

Я проверила ротовую полость. Язык не тронут, дёсны бледные, слизистые сухие — как будто она не пила неделю. Под языком я нашла маленький свёрнутый листок — берёста, перевязанный сухой травинкой. Я спрятала его в карман, не разворачивая. Бабушка никогда ничего не делала просто так, и я знала: эту записку нужно читать не здесь и не сейчас.

Потом я дошла до глаз. И вот — жемчужины. С этого всё началось.

Теперь они лежали в банке, неподвижные, но всё ещё тёплые. Я закончила осмотр и села на табурет. Достала из кармана берёсту, развернула. На внутренней стороне было нацарапано корявым бабушкиным почерком — четыре слова: «Воду не отдавай. Жди».

Я перечитала их трижды, пытаюсь понять, что она имела в виду. Какую воду? Почему не отдавать? И ждать — чего? Или кого? Ответов не было. Только тишина в доме, треск свечей, половицы, которые вдруг скрипнули сами по себе где-то в дальней горнице.

Я обернулась. Входная дверь была прикрыта неплотно, и в щели, на полу, темнело влажное пятно. Оно расползлось медленно, как живое, и в нём — я могла поклясться — отражалось не окно, а что-то высокое, стоящее прямо за порогом. Я встала, стараясь не делать резких движений, подошла и рванула дверь на себя.

На крыльце — никого. Только туман, густой, как простокваша, и комариный звон над канавой. Ступени были мокрыми, и на них — цепочка следов. Больших, вытянутых, с неестественно длинными, тонкими пальцами. Они вели от крыльца в сторону болот и терялись в осоке. Я постояла несколько секунд, вглядываясь в серую мглу, потом закрыла дверь, задвинула щеколду, проверила засовы на ставнях.

Я вернулась к столу, поправила полотно на бабушке, задула свечи, оставив только ночник — слабый синий свет, от которого тени делались плоскими и неживыми. Легла на лавку, укрылась старым тулупом, пахнувшим травами и дымом. Запах был знакомым до слёз, и под его защитой я не заметила, как провалилась в сон.

Мне приснилась вода. Чёрная, неподвижная, уходящая в бесконечность. Я стояла на мостках — тех самых, где её нашли, — и чувствовала, как доски прогибаются подо мной. Под водой кто-то был: я не видела его, но знала, что он смотрит. И голос — низкий, спокойный, без интонации — прозвучал прямо в груди: «Ты пахнешь ею. Только слабее. Но ты подойдёшь».

Я проснулась от собственного крика. Ночник погас. В кухне стояла предрассветная серость, и первое, что я увидела — банку с жемчужинами. Они больше не двигались. Просто лежали на дне, матовые и мёртвые. Но пол под дверью снова был мокрым, и цепочка следов, больших и длиннопалых, вела от порога к столу, обходила лавку, останавливалась у моего изголовья, а потом уходила обратно. Как будто тот, кто приходил, стоял надо мной. Смотрел. И что-то решал.

Я достала из кармана берёсту. Четыре слова остались теми же, но под ними проступила ещё одна строка, которой не было раньше. Почерк был чужим — текучим, похожим на узоры, которые вода оставляет на песке: «Имя моё — Тальник. Не заставляй меня ждать дважды».

Я сложила берёсту, спрятала в карман. Умылась ледяной водой, натянула куртку, проверила фонарик. Бабушка сказала ждать. Но гость сказал идти. И когда между наказом мёртвых и требованием тех, кто не умирает вовсе, встаёт выбор, живым приходится выбирать очень осторожно.

Над болотом поднималось солнце — красное, мутное, как открытая рана. Где-то там, за осокой, начиналась чёрная вода, и я знала: когда дойду до мостков, он будет ждать. Тот, кто назвал себя Тальником. Тот, кто не говорит, а дышит. И тот, кому моя бабушка задолжала больше, чем жизнь.

Глава 2. Чёрная вода

Я вышла из дому, когда солнце ещё только выползло из-за леса — красное, размытое по краям, словно его окунули в воду и забыли вытереть. Туман лежал над землёй плотным слоем, доставая мне до пояса, и каждый шаг поднимал молочные завихрения, которые долго не хотели оседать. Воздух был сырым и холодным — не так, как бывает августовским утром, когда прохлада приятна после душной ночи, а иначе: этот холод шёл снизу, от земли, и пах тиной, мокрым мхом и чем-то ещё, неуловимым, как запах старого погреба, в котором хранили яблоки, но давно не открывали.

Я шла по тропинке, которую помнила с детства, хотя теперь её почти не было видно под слоем жухлой осоки и ползучего клевера. В детстве я бегала здесь босиком, и бабушка кричала вслед: «Не гони, Агнюша, болото не любит спешки!». Тогда я смеялась и бежала дальше, а теперь шла медленно, как она учила, и на каждом шагу проверяла ногой почву — не чавкает ли слишком громко, не уходит ли из-под подошвы. Болото дышало. Где-то в стороне ухнула выпь, и звук этот раскатился над водой низким, утробным эхом, от которого дрогнули камыши.

Тропа вывела меня к мосткам. Они были те же, что и пятнадцать лет назад: дощатый настил на вбитых в дно брёвнах, уходящий в чёрную воду на десяток метров и обрывающийся без перил, без предупреждения. Доски посерели от времени, кое-где прогнили, и сквозь щели виднелась неподвижная гладь, которая не отражала ни неба, ни облаков, ни моего приближающегося силуэта. Вода здесь была особенной — я помнила это с детства. Она не принимала отражений. Бабушка говорила: «Это потому, что у неё своё лицо, и чужого ей не надо».

Я ступила на мостки. Доски отозвались глухим стоном, но выдержали. Я сделала ещё шаг, потом ещё, пока не оказалась примерно на середине — там, где настил становился уже, а вода подходила почти вровень, так что при неосторожном движении можно было зачерпнуть ботинком. Здесь её и нашли. Соболев сказал: сидела, прислонившись спиной к столбу. Я оглянулась: столб был тут же, гнилой, покрытый зелёным мхом, с торчащими из щепок ржавыми гвоздями. Никаких следов. Только мох на столбе, с одной стороны, примят — как будто кто-то действительно опирался на него спиной.

Я остановилась. Туман вокруг начал медленно двигаться — не рассеиваться, а именно перемещаться, словно его кто-то месил невидимыми руками. В воздухе повисла тишина. Не та обычная деревенская тишина, в которой слышно далёкий лай собаки или стук топора, — а полная, абсолютная, какая бывает только глубокой зимой в лесу, когда даже ветер замирает. Комары, висевшие роем над осокой, пропали. Выпь замолчала. Я слышала только собственное дыхание и стук сердца, который отдавался в висках и почему-то казался слишком громким, почти вызывающим.

А потом вода заговорила. Не голосом — движением. По чёрной глади, до этого идеально неподвижной, пошла рябь. Она возникла не от ветра — ветра не было. Она расходилась кругами откуда-то из глубины, медленно, ритмично, как будто под водой билось огромное сердце. Круги дошли до мостков, мягко качнули доски под моими ногами, и я почувствовала, как по позвоночнику поднимается холод — не страх, а что-то более древнее, инстинктивное, что заставляет зверя замереть перед прыжком хищника.

Он появился не из воды — из тумана. Сначала я увидела силуэт впереди, на самом краю мостков, где доски обрывались в пустоту. Высокий, неподвижный, он стоял ко мне спиной и смотрел на воду — или в воду, разницы здесь не было. Туман стекал с его плеч длинными прядями, и казалось, что он состоит из этого тумана, что он только что выступил из него и в любой момент может уйти обратно. Но запах — запах выдавал его. От него пахло мокрой землёй, опавшей листвой и чем-то холодным, минеральным, как от камня, который достали с речного дна.

— Ты пришла, — сказал он, не оборачиваясь.

Голос был именно таким, как во сне: низким, ровным, лишённым вопросительной интонации. Он не спрашивал — он констатировал. И этот голос не доходил до ушей привычным путём; он рождался где-то внутри меня, под диафрагмой, и расходился оттуда волнами, как звук колокола, который чувствуешь кожей.

— Ты звал, — ответила я. Голос прозвучал сухо, сдержанно — я гордилась собой за эту сдержанность, хотя сердце продолжало биться где-то в горле. — Ты Тальник?

Он обернулся. Медленно, слишком плавно для человека — как поворачивается большая рыба в толще воды, без резких движений, без усилия. И когда его лицо оказалось напротив моего, я едва не сделала шаг назад.

Человеческое — но только отчасти. Черты были правильными, даже красивыми, если можно применить это слово к тому, что не рождалось человеком: высокие скулы, прямой нос, тёмные брови. Но глаза... Глаза были не того цвета, который можно назвать. Они переливались, как вода в торфяном озере: коричневый, зелёный, золотой — всё сразу, и слои эти двигались, смешивались, не останавливаясь ни на секунду. Белков почти не было видно — только радужка, занимавшая почти весь глаз, и зрачок — не круглый, а вертикальный, как у ночного зверя, но куда более древнего.

Кожа его была бледной, с серовато-зелёным оттенком, как у утопленника, пролежавшего в воде несколько дней, но при этом гладкая, без следов разложения. Волосы — длинные, ниже плеч, тёмные, но не чёрные, а цвета мокрой коры, — свисали вдоль лица влажными прядями и тоже пахли водой. На нём была одежда, которую я не смогла бы описать словами: не ткань, не кожа, а что-то текучее, облегающее тело, как вода облегает камень, и такое же тёмное, как вода под мостками.

— Тальник, — подтвердил он, и его губы чуть дрогнули — не в улыбке, а в каком-то движении, которое, наверное, заменяло ему улыбку. — Так меня назвала твоя старуха. До неё у меня были другие имена, но это подошло лучше прочих. Тальник — дерево, которое растёт у воды. Корнями — в мёртвом, кроной — в живом. Неплохое имя для того, кто стоит на границе.

Он сделал шаг ко мне. Доски под ним не скрипнули. Я смотрела на его ноги и видела, что он босой, но ступни не были человеческими: длинные, узкие, с пальцами, которые заканчивались не ногтями, а чем-то твёрдым и гладким, похожим на костяные наросты. И между пальцев — едва заметные перепонки, сейчас сжатые, но готовые расправиться в воде.

— Ты знаешь, что случилось с бабушкой? — спросила я, стараясь, чтобы голос не дрожал.

— Знаю, — ответил он просто. — Она умерла.

— Это я уже поняла. Как?

— Она нарушила слово. — Он остановился в двух шагах от меня, и воздух между нами стал плотным, холодным, как вода в проруби. — Давным-давно, когда ты ещё не родилась, мы заключили договор. Я дал ей кое-что взаймы, а она пообещала плату. Она исправно платила много лет. А потом перестала. И долг начал расти. То, что ты видела в её глазах, — это проценты.

Я вспомнила жемчужины. Тёплые, с движением внутри.

— Что ты ей дал?

— Время, — сказал Тальник, и в его голосе впервые проскользнуло что-то похожее на эмоцию — не то сожаление, не то скука. — Она хотела вырастить тебя, Агния. Хотела увидеть, как ты встанешь на ноги. Я дал ей пятнадцать лет сверх того, что было отмерено. Она заплатила за первые десять. За последние пять не заплатила. И долг перешёл на тебя.

— Почему на меня?

— Потому что в договоре было сказано: «Я и кровь моя». — Он наклонил голову чуть вбок, и в этом движении было что-то птичье, нечеловеческое. — Ты её кровь. Единственная. Твой отец давно мёртв, твоя мать сбежала и забыла дорогу. Осталась ты. И долг теперь твой.

Я молчала. В голове крутились обрывки мыслей, и ни одну из них не удавалось ухватить до конца. Бабушка продала что-то этому существу. Продала, чтобы я выжила. И теперь я стояла перед ним на гнилых мостках, и вода дышала под ногами, и нужно было принимать решение.

— Что ты хочешь? — спросила я наконец.

— То же, что всегда, — ответил Тальник. — Плату.

— Чем?

— С собой.

Я отступила на шаг. Он не двинулся с места, только глаза его — эти переливающиеся, бездонные глаза — проследили за мной с каким-то ленивым интересом.

— Не бойся, — сказал он. — Мне не нужна твоя жизнь. Мне не нужна твоя душа — если она у тебя есть, в чём я не уверен. Мне нужны твои чувства. Эмоции. То, что вы, люди, испытываете каждый день и не цените. Радость. Гнев. Печаль. Страх. — Он чуть растянул губы, и я увидела его зубы: не острые, как у хищника, а плоские, полупрозрачные, словно выточенные из речного жемчуга. — Я питаюсь этим. Ваши чувства — как вода для меня. Без них я мелею. С ними — полноводен. Твоя бабушка отдавала мне свою печаль. У неё было много печали. А ты... — он прищурился, — ты, я вижу, боишься. Страх — хорошая плата. Очень питательная.

— Ты хочешь, чтобы я отдавала тебе свои эмоции? Просто так?

— Не просто так. — Он шагнул ближе, и теперь между нами был всего один шаг. От него веяло холодом, и этот холод пробирался под куртку, касался ключиц, шеи, запястий. — В обмен я помогу тебе. Тебе ведь нужно узнать, что случилось с твоей бабушкой? Я могу показать. Я видел всё, что происходит в этих болотах и вокруг них. Я знаю, кто и зачем забил ставни в её доме. Я знаю, куда делись те, кто пропал здесь раньше, и кто из местных об этом молчит. Я знаю, что убило твою бабушку — потому что это не я. И я помогу тебе найти ответы. За плату.

— По одной эмоции за каждый ответ? — я попыталась усмехнуться, но усмешка вышла кривой.

— По одной эмоции за каждую ночь, — поправил он. — Ты позволишь мне приходить к тебе во сне. Всего на несколько минут. И я буду брать то, что ты испытываешь в этот момент. Ты даже не заметишь потери — сначала. Люди редко замечают, когда у них что-то отнимают.

— А если я откажусь?

Он пожал плечами — слишком текучим, слишком нечеловеческим движением, от которого его тело на миг потеряло чёткость, словно размытое водой.

— Тогда долг останется за тобой. И будет расти. Как рос у твоей бабушки. Сначала ты перестанешь спать. Потом — есть. Потом придёшь сюда, сядешь у этого столба и закроешь глаза. И через двое суток станешь такой же, как она.

Я смотрела в его глаза и пыталась найти там хоть что-то — ложь, насмешку, угрозу. Но в них не было ничего. Только вода. Только бездна, отражающая небо.

— Если я соглашусь, — сказала я медленно, — я хочу, чтобы ты ответил на мой первый вопрос прямо сейчас. До того, как я отдам тебе что-либо.

— Спрашивай.

— Что именно бабушка нарушила в договоре?

Тальник наклонил голову в другую сторону. В его глазах что-то мелькнуло — возможно, уважение. Или его аналог.

— Она попыталась вернуть то, что отдала, — сказал он. — Это против правил. Отданное не возвращают. Но она очень любила тебя, Агния, и решила, что любовь сильнее правил. Оказалось — нет.

Он протянул руку. Длинные, узкие пальцы с костяными наростами на кончиках остановились в сантиметре от моей щеки, и я почувствовала, как от них тянет ледяной влагой. Не больно. Не страшно. Просто — холодно.

— Сделка? — спросил он.

Я молчала. Потом подумала о бабушке. О том, как она собирала багульник и пела мне странные песни без рифмы. О том, как учила различать следы. О том, как, наверное, сидела на этих самых мостках и принимала решение, от которого зависела моя жизнь.

— Сделка, — сказала я. — Но с условием. Ты берёшь только ту эмоцию, которую я испытываю в момент твоего прихода. Ты не тянешь из меня прошлые. Ты не трогаешь память. И ты предупреждаешь меня заранее, когда придёшь.

— Принято, — ответил он без раздумий. — А теперь — твой первый взнос.

Он коснулся моего лба кончиками пальцев. Холод пронзил меня насквозь — не физический, а какой-то глубинный, словно кто-то открыл внутри меня дверь в ледяной погреб. Я почувствовала, как страх — тот самый страх, что жил во мне с того момента, как я увидела бабушкино лицо, — вытягивается из меня тонкой нитью. Это было не больно. Это было даже не страшно. Это было... опустошающе. Как будто из сосуда вылили воду, и он стал легче и бесполезнее одновременно.

Тальник отдернул руку. Его глаза на мгновение стали ярче, глубже, в них проступили золотые искры, и он выдохнул — медленно, с каким-то почти чувственным удовольствием.

— Хорошо, — проговорил он тихо. — Очень хорошо. У тебя насыщенный страх. С терпкими нотами. Твоя бабушка гордилась бы.

Я стояла на мостках, чувствуя странную пустоту в груди — не боль, не печаль, а именно отсутствие. Как будто там, где раньше трепыхался страх, теперь было гладкое, холодное, пустое место. И это отсутствие пугало больше, чем всё, что я видела до сих пор.

— Ты... — я запнулась, подбирая слова, — ты уже взял?

— Первый взнос, — подтвердил он. — Твой страх. Совсем немного. Ты и не заметишь, как изменишься. Разве что перестанешь бояться темноты. Но темнота — не главное, чего стоит бояться в этих краях.

Он отступил. Туман начал сгущаться вокруг него, окутывать плечи, пряди волос, длинные пальцы с костяными наростами. Вода под мостками снова пошла рябью, и я услышала тот самый звук — кап-кап-кап, — доносящийся из глубины.

— Сегодня ночью я приду, — сказал Тальник уже почти из тумана; его фигура таяла, как сахар в воде. — Я покажу тебе первую тайну. Будь готова.

И исчез. Просто перестал быть. Туман расступился, открывая пустые мостки, чёрную воду и далёкий сосняк на том берегу. Комары снова зазвенели над осокой. Где-то ухнула выпь. Мир вернулся, но я стояла всё так же неподвижно, прижимая ладонь к груди, где ещё минуту назад бился страх, а теперь была пустота.

Я не знала, правильно ли я поступила. Знала только, что пути назад нет. Бабушка заключила сделку когда-то — и я повторила её путь. Осталось понять, куда этот путь ведёт.

Я развернулась и пошла обратно к дому. Мостки скрипели под ногами, но теперь этот скрип не казался угрожающим — просто старые доски, просто вода под ними, просто я, вдова страха.

А впереди была ночь. И он обещал прийти.

Глава 3. Первая плата

Дом встретил меня тишиной и запахом остывшего воска. После сырого болотного воздуха кухня показалась почти уютной: тёплый свет ночника на подоконнике, знакомый рисунок трещин на потолочной балке, мерное тиканье старых ходиков над печью. Но ощущение уюта было обманчивым, и я знала это. Знала, что в банке на подоконнике лежат жемчужины, которые ещё вчера были в глазах моей бабушки. Знала, что под языком у неё была берёста с четырьмя словами, а теперь этих слов стало больше, и написаны они не её рукой. Знала, что заключила сделку с существом, которое не назовёшь человеком, и что этой ночью он придёт.

Я скинула куртку, стащила мокрые ботинки, поставила их сушиться к печной заслонке. Банку с жемчужинами переставила на стол — подальше от окна, поближе к себе. Почему-то казалось, что за ними нужно присматривать. Я не могла объяснить это рационально, но после разговора на мостках рациональное отступило куда-то на задний план, уступив место древнему, инстинктивному чутью, которое пока молчало, но держало ухо остро.

Бабушка всё так же лежала на столе, укрытая серым полотном. Я поправила край, подвернула ткань под плечи, как будто ей могло быть холодно. Потом села на лавку, прижалась спиной к тёплой печи и стала ждать. Спать не хотелось, но я знала, что усну — он сказал «приду», и его приход, судя по всему, не зависел от моего желания.

В доме потрескивали половицы, оседала сажа в печной трубе, шуршала мышь где-то под полом. Я смотрела на банку с жемчужинами. Они лежали на дне, неподвижные, матовые, и всё же мне казалось, что они наблюдают за мной. Что в их мутной глубине что-то движется — медленно, терпеливо, как подводное течение. Я моргнула — движение пропало. Моргнула снова — вернулось. Или это усталость играла со мной, или действительно в этих тёмных сферах теплилась какая-то жизнь, которой не место в мире живых.

Веки налились тяжестью незаметно. Я не заметила момента, когда заснула. Просто в какой-то миг поняла, что больше не сижу на лавке.

Я стояла на кухне, но кухня была другой. Свечи горели ровным, высоким пламенем, давая куда больше света, чем должны. Полотна на столе не было, и бабушка лежала с открытыми глазами, но в глазницах больше не было пустоты — там, где раньше были жемчужины, теперь темнела вода. Она заполняла глазницы до краёв, не выливаясь, и в ней отражался свет свечей двумя крошечными дрожащими огоньками.

Я хотела подойти, но не смогла — ноги словно приросли к полу. И тогда я услышала его голос.

— Не бойся. Это сон. Вернее, не совсем сон, но тебе удобнее называть это так.

Я обернулась. Тальник стоял у печной заслонки — там, где несколько часов назад лежали упавшие жемчужины. В этом пространстве сна он выглядел иначе: выше, тоньше, кожа его светилась слабым зеленоватым светом, как гнилушка в лесу, а волосы струились вдоль тела, и в них запутались водоросли — длинные, чёрные, с мелкими листьями, которые шевелились сами по себе. Глаза горели ярче прежнего, и в их переливающейся глубине проступали золотые прожилки — как будто кто-то растворил в воде расплавленный металл.

— Ты обещал показать тайну, — сказала я. Голос во сне звучал глухо, как из-под воды, хотя вокруг был воздух. — Я слушаю.

— Прямо к делу, — он чуть наклонил голову, и в его глазах мелькнуло то самое выражение, которое я уже видела на мостках: не улыбка, не интерес, а отдалённое подобие уважения. — Хорошо. Твоя бабушка нарушила договор не просто так. Она пыталась вернуть то, что отдала мне двадцать лет назад. Свою способность плакать.

— Что? — я нахмурилась. — Она продала тебе способность плакать?

— Это была её первая плата, — подтвердил Тальник. — Когда ты была совсем маленькой, ты заболела. Той болезнью, от которой здесь умирают дети: сначала жар, потом холод, потом синие пятна по телу. Твоя бабушка пришла ко мне на мостки и попросила спасти тебя. Я потребовал плату. Она предложила свои слёзы. Это была высокая цена — она любила плакать. Но тебя она любила больше.

Он замолчал, и в тишине я услышала звук: кап-кап-кап. Вода в глазницах бабушки пошла рябью, и одна капля сорвалась с края и упала на стол.

— Я согласился, — продолжил Тальник. — Забрал её слёзы. Ты выжила. Но через пятнадцать лет она пришла снова и сказала, что хочет вернуть их обратно. Говорила, что без слёз не может оплакать твою мать, которая ушла и не вернулась. Говорила, что хочет плакать по тебе, потому что ты уехала и забыла дорогу. Я сказал: отданное не возвращают. Она не послушала.

— И что она сделала?

— Пошла к другой воде. — Его голос стал ниже, холоднее. — Здесь не только мои болота, Агния. Есть и другие. Тёмные. Те, что под корнями. Твоя бабушка нашла то, что живёт в трясине — не такое, как я, а старое, голодное, не умеющее договариваться. Оно пообещало вернуть ей слёзы в обмен на кое-что другое. Она согласилась. И нарушила наш договор, потому что нельзя служить двум хозяевам сразу. Когда я узнал, было поздно. Она уже отдала ему то, что не имела права отдавать.

— Что именно?

Тальник шагнул ближе ко мне — теперь между нами было расстояние вытянутой руки. От него пахло тиной и холодом, и я чувствовала, как этот холод проникает под кожу, обволакивает кости, оседает инеем на мыслях.

— Себя, — сказал он коротко. — Она отдала ему себя. Не эмоцию, не часть, не на время — всю. Поэтому её тело такое, какое ты видела. То, что в трясине, высосало из неё жизнь досуха и положило на мостки как напоминание. Мне — напоминание о том, что я потерял должницу. Тебе — напоминание о том, что долг перешёл по наследству.

Он протянул руку и коснулся моего виска. Так же, как на мостках, — кончиками длинных холодных пальцев. И в тот же миг кухня исчезла.

Я оказалась в другом месте — и одновременно в другом времени. Это было болото, но не то, что я видела утром, а другое: мрачное, гнилое, поросшее кривыми соснами, чьи корни свешивались в чёрную воду, похожие на мёртвые руки. Вода здесь была не гладкой — она булькала, пузырилась, и от неё поднимался пар, пахнувший тухлыми яйцами и чем-то сладковатым, приторным, как разлагающаяся плоть. Посреди этого болота стояла бабушка — по пояс в воде, с распущенными седыми волосами и запрокинутым к небу лицом. Она что-то говорила, но слов я не могла разобрать, только видела, как шевелятся её губы, как дрожат руки, сложенные на груди, как вода вокруг неё начинает светиться — тусклым, гниlostным, зеленоватым светом.

А потом из воды поднялась рука. Огромная, чёрная, нечеловеческая — с длинными, похожими на корни пальцами, с присосками на концах. Она медленно обхватила бабушку за плечи, за талию, за шею, и бабушка не сопротивлялась. Она смотрела в небо и улыбалась. И когда рука утянула её под воду, с её губ сорвалось одно-единственное слово. Теперь я его слышала.

«Агния».

Картинка исчезла. Я снова стояла в кухне, тяжело дыша, прижимая ладонь к груди, где колотилось сердце. Тальник всё так же стоял напротив, и его глаза больше не переливались — они стали почти чёрными, как вода под мостками.

— Это то, что я видел, — сказал он. — То, что в трясине, взяло её. Не я. Я лишь хранил её слёзы. Теперь не знаю, где они. Возможно, там же. А возможно, рассыпались жемчугом по болотам, и их уже не собрать.

— Жемчугом, — повторила я. — Эти жемчужины...

— Её слёзы. Те, что она так и не выплакала. Тот, другой, вернул ей способность плакать перед самой смертью — в насмешку. Чтобы я видел, что он может то, чего не могу я. Она плакала там, в трясине, и слёзы её превратились в то, что ты нашла. Две жемчужины. Остальные она выплакала до этого, и они где-то на дне. Если найдёшь — сможешь расплатиться со мной полностью и расторгнуть сделку. Но предупреждаю: это почти невозможно.

Я смотрела на бабушкино тело, на её сухое, мумифицированное лицо, на воду в глазницах, которая теперь казалась мне не жуткой, а печальной. Она хотела плакать. Она так сильно хотела плакать, что отдала за это всё.

— Как мне найти то, что в трясине? — спросила я тихо.

Тальник чуть отступил, и тени на его лице сгустились, сделав черты резче, жёстче.

— Я не могу тебе этого сказать, — ответил он. — Наши договоры связывают нас, и я не могу напрямую навредить тому, кто заключил сделку с твоей бабушкой. Но я могу показать тебе путь. Следующей ночью. Если заплатишь.

— Чем?

— Своим гневом, — сказал он, и его глаза снова зажглись золотыми искрами. — Ты сейчас злишься. На меня, на бабушку, на то, что в трясине, на весь этот мир. Я чувствую это. Гнев — хорошая пища. Очень насыщенная.

— Забирай, — сказала я, почти не раздумывая. — И покажи мне путь.

Он снова коснулся моего лба. На этот раз холод был другим — не спокойным, как на мостках, а жгучим, яростным, как ледяная вода, брошенная в лицо. Я почувствовала, как гнев — тот самый, что клокотал во мне с того момента, как я услышала про «долг», — покидает меня. Он уходил рывками, толчками, словно из вены вытягивали кровь, и на смену ему приходила пустота. Не облегчение — именно опустошение. Я всё ещё помнила, почему злилась, но сама эмоция исчезла, оставив только голую констатацию факта.

— Хорошо, — прошептал Тальник, и в его голосе впервые прозвучало что-то похожее на наслаждение. — Очень хорошо.

— Путь, — напомнила я. — Ты обещал.

— Иди на юг от мостков, — сказал он. — Там, где осока становится жёлтой, а вода пахнет серой. Найдёшь старую ель, расколотую молнией. Под ней — вход. Только не ходи одна. И не ходи ночью. То, что живёт там, голодно и ждёт новых гостей.

Он начал отступать, и кухня вокруг меня поплыла, теряя очертания. Свечи гасли одна за другой. Тени напозлали на стены. Последнее, что я увидела перед тем, как проснуться — его глаза, горящие в темноте, и губы, которые сложились в слово, произнесённое без звука: «Помни».

Я проснулась на лавке. За окнами стоял серый рассвет, моросил мелкий дождь, и капли стучали по подоконнику — размеренно, монотонно, как отсчёт времени. Ночник погас. Банка с жемчужинами стояла на столе, и обе жемчужины светились — слабо, едва заметно, но достаточно, чтобы я увидела это свечение даже в утреннем полумраке.

Пол под дверью был сухим. Никаких следов. Но на берёсте, которую я сжимала в руке, появилась ещё одна строка — тем же текучим почерком, что и в прошлый раз: «Ты должна найти остальные. Четыре из семи. Только тогда ты будешь свободна».

Я перечитала и медленно опустила берёсту на стол. Семь слёз. Две у меня. Четыре нужно найти. Осталась одна — но её, наверное, уже поглотила трясина.

Я встала, подошла к столу, коснулась бабушкиной руки. Кожа была по-прежнему сухой и тёплой. Я не чувствовала ничего — ни гнева, ни страха, ни печали. Только решимость. И где-то глубоко, под слоем опустошения, — слабый, едва тлеющий уголёк того, что, наверное, можно было назвать любовью.

— Я найду их, — сказала я вслух, обращаясь не то к бабушке, не то к самой себе. — Я найду все семь.

Дождь за окном усилился. Где-то вдалеке, над болотами, прокатился глухой раскат грома. И мне показалось, что в этом раскате я слышу ответ — не слова, а чувство. Как будто само болото знало, что я приду. И ждало.

Глава 4. Южный край

Дождь не прекращался до полудня, а когда прекратился, стало только хуже. Над болотами поднялся пар — густой, белёсый, он стелился над осокой, заполнял низины, просачивался между деревьями, и в этом пару всё теряло очертания: сосны становились серыми тенями, мостки — размытой линией, уходящей в никуда, а собственное тело казалось чужим, словно я шла по пояс в молоке.

Я стояла у калитки и смотрела на юг. Туда, где, по словам Тальника, осока желтеет, а вода пахнет серой. Где старая ель, расколота молнией, прячет под корнями вход в трясину. Я помнила эти места — в детстве мы ходили туда с бабушкой, но никогда не подходили близко к ели. Она говорила: «Там земля гнилая, Агнюша. Не ходи». И я не ходила. Теперь придётся.

Но не сейчас. Не одной. И уж точно не ночью — это Тальник сказал ясно, а в его словах, даже самых спокойных, всегда таился подтекст, который не стоило игнорировать. Если он предупреждает об опасности, значит, опасность такова, что даже он, бессмертный дух болот, не стал бы соваться туда без подготовки.

Нужны были союзники. Или хотя бы информация.

Я натянула куртку, проверила фонарик, сунула в карман перочинный нож — скорее для самоуспокоения, чем для реальной защиты, — и вышла со двора. Деревня встретила меня тишиной. Не той, что бывает в ранний час, когда все ещё спят, а другой — насторожённой, внимательной, полной невидимых глаз. Я чувствовала их спиной: из-за занавесок, из-за покосившихся заборов, из тёмных сеней, где неподвижно стояли старухи, не забывшие ещё мою бабушку.

У дома участкового я остановилась. Он жил на втором конце деревни, в приземистом срубе с покрашенными в казённый зелёный цвет наличниками — единственными во всей Топи, которые выглядели так, будто их касалась человеческая рука хотя бы раз в последние пять лет. Соболев сидел на крыльце и курил, стряхивая пепел в жестянку из-под консервов. Увидев меня, он не удивился — только выдохнул дым через нос и кивнул на ступеньку рядом с собой.

— Садись. Рассказывай.

Я села. Рассказала не всё: опустила сделку, жемчужины, сны с Тальником. Сказала только, что бабушка, кажется, связалась с чем-то в болоте, что её смерть — не естественная, и что я хочу найти того, кто её убил. Соболев слушал молча, не перебивая, и только когда я закончила, затушил сигарету о подошву, спрятал окурки в жестянку и посмотрел на меня долгим, тяжёлым взглядом.

— Ты на юг собралась, — сказал он, и это был не вопрос.

— Откуда вы знаете?

— Потому что туда все рано или поздно идут. Кто что ищет. Только не все возвращаются. — Он помолчал, разглядывая свои руки. — Твоя бабка ходила. В последний раз — месяц назад. Вернулась сама не своя. Сказала, что печать треснула и что долг придётся платить. Я думал, про кредит какую-то чушь несёт. А оно вон как вышло.

— Какая печать? — Я развернулась к нему всем корпусом. — О чём вы?

Соболев вздохнул. Потом встал, ушёл в дом и вернулся с потрёпанной папкой — из тех, в каких участковые хранят старые дела. Он положил её между нами и открыл. Внутри лежали пожелтевшие листки, напечатанные на машинке, и несколько фотографий — чёрно-белых, с обтрёпанными краями.

— Тридцать лет назад, — начал он глухо, — в Топи пропали дети. Четверо. Два мальчика, две девочки. От семи до двенадцати лет. Ушли утром в лес, вечером не вернулись. Искали всей

деревней, потом из района приезжали, с собаками. Ни следа. Как в воду канули. — Он горько усмехнулся. — В прямом смысле. Тут же одни болота, сама знаешь.

Я взяла фотографии. С них смотрели дети — обычные, деревенские, в ситцевых платьях и рубашках с закатанными рукавами. У одной девочки были две косички и серьёзный, не по возрасту, взгляд. У мальчика с последнего снимка — рваный шрам на подбородке.

— Их нашли?

— Нет. Тела не нашли. Но через год твоя бабка объявила, что болото закрыто. Что она, — он запнулся, подбирая слово, — договорилась. Сказала: больше никто не пропадёт, если мы не будем ходить на юг. Ей поверили. Она здесь... она была не просто знахаркой, она была, — он снова запнулся, — как бы это сказать... сторожем. Хранительницей. Она знала, о чём говорить. И мы слушались. Тридцать лет никто не пропал. До неё самой.

Я молча перебирала фотографии. Четверо детей. Тридцать лет тишины. А потом — треснувшая печать, долг, и бабушка, лежащая на столе с жемчужинами в глазах. Всё сходилось. Но главный вопрос оставался без ответа.

— Что именно она запечатала? — спросила я.

Соболев посмотрел на меня, и в его глазах мелькнуло что-то, чего я раньше не видела. Страх. Старый, застарелый, похороненный глубоко и теперь вытасченный на свет.

— Там, под корнями ели, — сказал он тихо, — лежит старая трясина. Не просто болото, а... оно всегда было здесь, сколько люди помнят. Ещё до деревни, до церкви, до всего. В нём что-то живёт. Что-то большое, голодное и очень, очень старое. Твоя бабка называла его Нижним. Или Тёмным. Или просто — «то, что в трясине». Оно забирает. Не тела — тела потом возвращает, как с ней вышло. Оно забирает другое.

— Что?

— Не знаю. — Он развёл руками. — Но те дети... они ведь не просто пропали. Их видели потом. Некоторые. Местные говорили — будто бы в тумане, на мостках, на том берегу. Стоят и смотрят. Только глаза у них были другие. Пустые. Как у кукол. Будто из них вынули всё, что было внутри.

Я вспомнила лица под водой — те, что видела в моём первом сне. Бледные, с открытыми глазами, смотрящие из глубины. И холод пробежал по позвоночнику — не тот, что забирают духи, а обычный, человеческий, от которого дрожат руки и пересыхает в горле.

— Мне нужно идти, — сказала я, вставая.

— Подожди. — Соболев схватил меня за руку. — Если пойдёшь, возьми вот. — Он вытащил из-за пазухи маленький холщовый мешочек и вложил мне в ладонь. — Бабка твоя оставила. Сказала: «Если Агния вернётся и захочет идти на юг, отдай». Я думал — брежу. А теперь...

Я развязала мешочек. Внутри лежали сушёные травы — багульник, зверобой, что-то ещё с резким, горьковатым запахом, — и маленький, размером с ноготь, камень: чёрный, гладкий, с крошечной искрой внутри, которая вспыхнула и погасла, едва я взяла его в руку.

— Спасибо, — сказала я.

Соболев кивнул. Ничего больше не сказал. Только закурил снова, и его лицо скрылось за завесой дыма.

Я шла обратно через деревню, сжимая в кармане мешочек с травами и камнем, и чувствовала, как внутри что-то меняется. Страх не было — Тальник забрал его. Гнева тоже. Но осталось кое-что другое: ощущение неизбежности, горькое и холодное, как вода в осеннем колодце. Я знала, что пойду на юг. Знала, что найду ель. И знала, что бабушка, даже мёртвая, продолжает вести меня за руку — как в детстве, когда мы собирали багульник и она говорила: «Смотри под ноги, Агнюша. Болото не прощает спешки».

Глава 5. Вторая жемчужина

К расколотой ели я пошла на следующее утро — не ночью, как велел Тальник, и не одна. Соболев вызвался идти со мной, хотя я его не просила. Сказал коротко: «Я участковый, мне по долгу положено», — но я видела, что дело не в долге. Ему тоже нужно было что-то понять. Что-то, что мучило его все эти тридцать лет.

Мы шли на юг по едва заметной тропе, которая то ныряла в осоку, то терялась в кочках, то обрывалась у края чёрной воды, заставляя искать обход. Соболев шёл первым, и в руке он держал длинный шест — проверял почву, прежде чем ступить. Я шла следом, неся в рюкзаке банку с жемчужинами, фонарик, нож и бабушкин мешочек. Его присутствие странно успокаивало — не потому, что он мог защитить от того, что жило в трясине, а потому, что напоминал: я ещё в мире людей. Ещё не до конца провалилась в ту реальность, где мёртвые плачут жемчугом, а духи болот пьют человеческие эмоции.

Осока вокруг постепенно меняла цвет — из зелёной становилась желтоватой, потом откровенно жухлой, и чем дальше мы шли, тем сильнее в воздухе ощущался запах. Не серы — скорее тухлых яиц, но слабее, смешанный с чем-то сладковатым и тошнотворным, как разлагающаяся плоть. Соболев сморщился, прикрыл нос рукавом, но ничего не сказал. Я дышала через рот, стараясь не думать о том, что именно издаёт этот запах.

Ель показалась внезапно. Она стояла на небольшом возвышении — огромная, вдвое выше окружающих сосен, но мёртвая. Хвоя осыпалась, ветви обломились, и только ствол, чёрный от времени, тянулся к небу, расколотый надвое ударом молнии. Трещина шла от самой кроны до корней и была такой глубокой, что в ней мог бы поместиться человек. Из неё поднимался пар — тот самый, с серным запахом, — и в этом пару мне почудилось движение.

— Здесь, — сказала я. — Под корнями.

Соболев обошёл ель кругом, постучал шестом по земле у подножия. В одном месте посох ушёл в почву почти полностью, и он, чертыхнувшись, едва не упал.

— Пустота под землёй, — констатировал он. — Как погреб. Или нора. Я туда не полезу, извини.

— Я и не прошу.

Я опустилась на колени у подножия ели, разгребла слой хвои и мха, под которым обнаружилась деревянная крышка — старая, почерневшая, с вырезанными на ней знаками, похожими на те, что я видела на бабушкиной берёсте. Я открыла её, и в лицо пахнуло могильным холодом — не тем, что от Тальника, а другим: затхлым, спёртым, полным гнили и ещё чего-то, что я не могла назвать.

Вниз вёл земляной лаз. Ступени были вырезаны прямо в грунте, кое-где укреплённые досками, но доски давно сгнили, и ступени обвалились. Я включила фонарик, осветила внутрь. Свет выхватил из темноты стены, покрытые корнями, которые свисали с потолка, как спутанные волосы, и пол — чёрную воду, неподвижную, маслянистую, уходящую куда-то вглубь.

— Я быстро, — сказала я Соболеву. — Если не вернусь через час — уходите.

— Через час, — повторил он, и я увидела, как его пальцы сжали шест добела. — Через час.

Я спустилась. Вода оказалась ледяной — она доставала мне до щиколоток, потом до колен, потом до пояса. С каждым шагом дно уходило вниз, и приходилось двигаться на ощупь, держась за склизкие корни. Свет фонарика выхватывал из темноты странные вещи: старый башмак, плывущий по воде, ржавый ковш, детскую куклу с оторванной головой, чьи глаза, казалось, следили за мной. Стены сужались, потолок становился ниже, и вскоре мне пришлось

пригнуться. Запах усилился — теперь это была уже не сера, а разложение, чистое и безжалостное, от которого желудок скручивало спазмами.

А потом лаз закончился, и я оказалась в пещере.

Она была не природной — стены здесь были слишком ровными, слишком гладкими, словно их выскоблили изнутри чем-то огромным. Вода здесь не стояла, а текла — медленно, по кругу, образуя водоворот, центр которого был чернее всего, что я видела в жизни. И в центре этого водоворота что-то лежало. Что-то маленькое, светящееся.

Я подошла ближе, не сводя с него глаз. Свечение пульсировало — тускнело и разгоралось, как сердцебиение. И когда я наклонилась, чтобы разглядеть, я увидела: это была жемчужина. Такая же, как те две, что лежали в банке на бабушкином столе. Только эта светилась сама по себе, и свет её был не болотным, не коричневым, а чистым, серебристым, как лунная дорожка на воде.

Я протянула руку. Пальцы сомкнулись на жемчужине, и в тот же миг пещеру сотряс низкий, утробный рёв. Вода вокруг меня взбурлила, пошла пузырями, и из водоворота начало подниматься нечто. Я не видела его целиком — только край, кусок чёрной, блестящей, похожей на змеиную кожу плоти, усеянной присосками, которые открывались и закрывались, всасывая воздух с влажным, чавкающим звуком. Запах гнили ударил в нос с такой силой, что я закашлялась, попятилась, едва не выронив жемчужину.

И тогда из темноты вылетела рука. Длинная, узкая, с костяными наростами на кончиках пальцев. Она схватила меня за плечо и рванула назад, с нечеловеческой силой. Я вылетела из пещеры, протащила по лазу, больно ударила о корни, и в следующую секунду меня выбросило на поверхность — мокрую, задыхающуюся, сжимающую в кулаке светящуюся жемчужину.

Рядом, тяжело дыша, стоял Соболев с белым как мел лицом. А за его спиной, наполовину в тумане, стоял Тальник. Его глаза горели яростным золотом, а по лицу струилась вода — словно он только что вынырнул из глубины. Он смотрел на меня, и в этом взгляде не было привычного спокойствия. В нём было что-то, чего я раньше не видела. Страх. Или его подобие.

— Ты... — выдохнула я.

— Я сказал не ходить одной, — проговорил он, и голос его прозвучал глухо, как подводный колокол. — Я сказал не ходить ночью. Ты послушалась.

— Сейчас день, — заметила я, пытаюсь отдышаться.

— Там, — он кивнул в сторону лаза, — всегда ночь. И я не могу заходить туда. Ты понимаешь, чем ты рисковала?

— Я нашла третью жемчужину, — сказала я и разжала кулак. На ладони лежала серебристая сфера, пульсирующая тихим, ровным светом. — Она была там. В водовороте.

Тальник долго смотрел на неё. Потом перевёл взгляд на меня — и я увидела, как ярость в его глазах медленно гаснет, уступая место чему-то другому. Чему-то похожему на изумление.

— Ты вошла в гнездо Нижнего и вышла живой, — произнёс он тихо. — Этого никто не делал раньше. Даже твоя бабушка.

Он подошёл ближе, остановился в шаге. Протянул руку — но не к жемчужине, а к моему лицу. Кончики его пальцев коснулись моей щеки, и прикосновение это было не холодным, как раньше, а почти тёплым. Почти человеческим.

— Я почувствовал, — сказал он, и в его голосе прозвучала странная, незнакомая нота, — когда ты была там, внизу. Я почувствовал, что ты можешь не вернуться. И я... — он запнулся, словно пробуя незнакомое слово на вкус, — я испугался. Мне не нравится это чувство, Агния.

Я смотрела в его переливающиеся глаза и не знала, что ответить. Дух, который питается эмоциями, только что признался, что испытал собственную. И это меняло всё.

Соболев кашлянул, напоминая о своём присутствии, и Тальник отдернул руку — быстрее, чем нужно, словно его застали за чем-то постыдным.

— Идём домой, — сказала я, поднимаясь. — Там покажу, что нашла. И будем думать, что делать дальше. Осталось найти ещё три.

— Четыре, — поправил Тальник. — У тебя было два, теперь три. Осталось четыре. И последняя — в сердце трясины. Где ты только что была. Но теперь Нижний знает о тебе. И он не прощает.

Я спрятала жемчужину в мешочек, рядом с бабушкиным камнем, и мы двинулись обратно. Соболев шёл впереди, всё так же с шестом, но теперь его молчание было другим — не насторожённым, а потрясённым. Тальник исчез, растворился в тумане, но я знала: он рядом. И этой ночью он придёт снова. За платой. И возможно, за чем-то ещё.

Глава 6. Четвёртая плата

Дом встретил меня запахом сушёных трав и остывшего воска. После болотного смрада, пропитавшего одежду и волосы, этот запах казался почти священным — как ладан в храме, куда заходишь с улицы, пропитанной выхлопными газами и шумом. Я заперла дверь на щеколду, проверила ставни, стянула мокрую одежду и развесила её сушиться на спинках стульев. Соболев, проводив меня до калитки, ушёл к себе — молчаливый, потрясённый, с тенью в глазах, которой не было раньше. Я не стала его задерживать. Ему нужно было время, чтобы переварить увиденное. Как, впрочем, и мне.

Третья жемчужина лежала на столе, в той же банке, что и первые две, но теперь они больше не лежали неподвижно. Они двигались — медленно, плавно, описывая круги по стеклянному дну, словно планеты на орбитах. От каждой исходило свечение: две старые светились болотным коричневато-зелёным светом, а новая — чистым серебристым, и эти три цвета смешивались на стенах кухни, создавая причудливые тени, похожие на подводные растения. Временами они приближались друг к другу, почти соприкасаясь, а потом отскакивали, словно между ними действовала невидимая сила.

Я села на лавку, поджала ноги, накинула на плечи тулуп и стала смотреть на этот танец. Бабушкины слёзы. Три из семи. Четыре ещё где-то там — в болотах, в трясине, может быть, в руках того, кого Тальник называет Нижним. И если верить ему, достать их будет всё труднее. Первая была спрятана в гнезде, и я едва не осталась там навсегда. Что ждёт меня на пути к остальным?

Ходики над печью пробили девять. Я прикрыла глаза.

Сон пришёл не сразу — сначала была просто темнота, тёплая и уютная, как в детстве, когда забираешься с головой под одеяло и слушаешь, как за окном воет ветер. А потом темнота расступилась, и я оказалась на кухне — но не своей. Вернее, своей, но другой: более старой, более тёмной, какой она была, наверное, задолго до моего рождения. Печь была сложена из дикого камня, а не из кирпича, стол был грубо сколочен из неструганых досок, и на нём горела одна-единственная лучина, воткнутая в щель. За окнами стояла ночь — глубокая, беззвёздная, — и в этой ночи кто-то пел. Тихо, монотонно, без слов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.